

## Террористы начала XX века

Егор Сергеевич Сазонов – исполнитель крупнейшего эсеровского теракта: в 1904 г. он взорвал министра внутренних дел В.К. Плеве. Сазонов – один из главных героев "каторжных" воспоминаний Марии Александровны Спиридоновой, тоже известной террористки, в будущем (1917–1918) – главы левых эсеров.

Прежде чем приниматься за чтение, запишите три важнейших черты, которые должны быть у любого революционера-террориста. В чём соответствуют и в чём не соответствуют этой мерке Егор Сазонов, Мария Спиридонова?

### Спиридонова М.А. Из жизни на Нерчинской каторге.

#### Глава VIII. Егор Сазонов.

<...> Никто из нас Егора раньше не видел. Но мы узнали его среди них. Он как-то невольно приковал к себе наше внимание.

Лицо и голову Егора вряд ли можно и надо называть красивыми. Но все прекрасно в этом худом и нежном лице, в этой голове, покрытой шапкой бронзовых курчавящихся волос, в этом высоком лбу, сияющем над глазами белизной и резкими точными гранями, в этом необыкновенном взгляде золотисто-карих глаз под густыми мохнами бровей, в этой складке рта, скорбной и мягкой, в этой настороженной прислушивающейся посадке головы. У него были разные профили и неправильные черты лица. После взрыва бомбы на Плеве он был изранен, очень избит и остался сильно глухим, с неуклюжестью походки из-за оторванных пальцев на одной ноге; всюду на лице и руках виднелись шрамы, и он часто смешил окружающих своей глухотой или неловкостью, дикой застенчивостью и наивностью жестов, но, повторяю, не было никого для всех прекраснее его даже с внешней стороны. Что особенно очаровывало в лице – трудно сказать. Наверное, выражение лица. Это было лицо человека, отрешенного от грязи житейской, от злобы, мелкой печали и маленького самолюбия. И всегда, всегда лежала на его лице печать обреченности, всегда вдруг тревожно и грустно становилось на сердце, глядя на его задумчивость или улыбку. Рука человеческая иногда имеет столько же выражения как и лицо. Поразительны были его руки. На них тоже будто лежала печать обреченности. Незабвенным остается в памяти весь внешний облик его. Как бы ни дрожала душа, как бы ни был полон человек всяческих самых горьких чувств – ему делалось скоро легко и тихо, если он смотрел в это тихое лицо, в эту нежную усмешку, в эти ясные ласковые глаза. Как бы ни злился и ни бесился человек, как бы ни бушевали в нем самые свирепые страсти, – рядом с Егором он стихал и терялся, и это производило порой впечатление гипноза.

Хотя он и не был моралистом-проповедником, но нравственное влияние его на окружающих было огромно.

Он так страстно и напряженно искал душой своей правды, что это искание преображало его духовно и физически и неотразимо действовало на окружающих. Всем было радостно покоряться его доброте и любви и соревновать перед ним в своем самообуздании. Чистота обращения, доверчивость и незащищенность простодушно трогали и умиляли самые закоренелые сердца. Грубые надзиратели, руки которых натерели в порке, а сердце заржавело на зрелище чужого страдания, относились к нему с уважением. Начальник брюзгливо просил заключенных:

“Пожалуйста, для переговоров присылайте кого угодно, только не Сазонова”.

Это потому, что при беседе с Егором все лучшее в нем, тоже человеку, просыпалось – и против себя тюремщик шел на уступки, за минуту до того казавшиеся ему недопустимыми.

Сам Егор как бы не сознавал этого. Он не видел, сидя в уголке и напряженно вслушиваясь в разговор, что с ним считаются во время деловых обсуждений больше, чем с кем-либо, что его мнение ценится чрезвычайно, что он дорог нам и любим безмерно, он как бы не чувствовал этого, он был – сама скромность и самоумаление.

Когда он видел злобу, людское безобразие и жестокость, он физически страдал, силясь понять и все же не понимая возможности зла в людях.

Не поверить человеку, как бы явно тот ни лгал, надо было ему заставить себя, потому что он всегда верил каждому.

Строгость и чистота нравов и правил, привитая ему рождением и воспитанием в староверческой семье со старинными традициями, смягчалась в нем бережным обхождением с каждым, кто сталкивался с ним. В его манерах по отношению к женщинам и старикам было что-то старомодное, неравное; он смотрел снизу вверх на них, и не было границ его рыцарским заботам и предупредительности.

<...> Е.С. Сазонов родился в 1879 году. Происходил из староверческой семьи Уфимской губернии. Кажется, еще дед его был крепостным и откупился от барина на волю, но отцу уже удалось выбиться из податного сословия и стать даже богатым купцом, имевшим возможность дать образование своим двум сыновьям. Ко времени взрослости Егора отец успел разориться, но все же доучивал детей. В период своего студенчества Егор был исключен из университета в 1901 г. за принадлежность к уральскому союзу социал-демократов и социал-революционеров, арестован и сослан в 1902 году в Якутскую область на 5 лет. Бежал из ссылки за границу, где заявил уже о своем желании пойти на террористический акт.

Акт на Плеве должен был по первоначальному заданию Б. О.<sup>1</sup> произвести Каляев; потом вышло так, что пошел на него Сазонов. Из-за огромных трудностей акта (почти невозможность поимки Плеве) Сазонов предлагал себя только для задержки экипажа, предоставляя нападение на министра другим боевикам. Он хотел кинуться с бомбой под ноги быстро несущимся лошадям. Это было отклонено содрогнувшимися товарищами. Но, бросая уже сам бомбу в карету Плеве, все же, для большей уверенности, оставил между собой и местом взрыва такое малое расстояние, что надо считать случайностью и чудом спасение его от смерти. Изорван, опален и изранен, он был потом столь тяжело избит, что долго находился на краю смерти. Молодой организм победил, однако, и боль, и болезнь, и мы встретили его здоровым.

Он рассказывал, что, подбежав с бомбой к карете Плеве, встретился с министром глазами. Тот, должно быть, все сразу понял. *Увидел* свою смерть... И ужасный взгляд, полный дикого испуга, приковался к стеклу. Егор, вспоминая и пытаясь передать, какой был этот взгляд, содрогнулся тогда заново.

Еще Егор рассказывал, что особенно тяжелым было для него опасение во время болезни сказать что-нибудь лишнее. Взрыв помимо поранения головы и тела, причинил ему, наверное, мозговое сотрясение, и у него было долгое горячечно-бессознательное состояние. Когда в бреду Егор открывал глаза, он всегда видел наклонившиеся над собой лисьи морды шпионов, жадно слушающих его бред и вставлявших провокационные замечания ему в тон. И пронзенный острым ужасом, что, может быть, он *выдает*, и чувством полного своего бессилия в борьбе с болезнью, Егор впадал опять в полное бессознание, унося с собой туда ощущение самого величайшего горя и позора для революционера.

В одно из его минутных опаматований шпион, переодетый в докторский белый фартук, сказал ему с хорошо имитированным пафосом:

“Что вы наделали? От вашей бомбы погибло 40 человек, и убили маленькую 4-летнюю девочку!”

Егор потом (по рассказам медицинского персонала) рвал с себя все повязки и бился, и метался в удесятеренных больным мозгом страданиях. Ему чудились сорок убитых и среди них разорванная девочка с золотыми кудрями. Такая девочка действительно бежала по залитому солнцем тротуару перед ним с мячиком и звенела серебряным смехом, когда он шел со своим смертоносным орудием в руках по направлению к месту проезда министра. О девочке Сазонов, должно быть вспоминал в бреду, и шпионы использовали это в своих целях. Ни сорок человек, ни девочка убиты, конечно, не были.

<...> Смерть Плеве праздновалась как общее воскресение. На улицах знакомые обнимались с радости, незнакомые приветствовали друг друга. Торжество рабочих в столицах, русского общества во всей стране было так неприкрыто, общественное мнение было до того единодушно в своем требовании смягчения участи Сазонова, что правительство не посмело его казнить, и он приговорен к бессрочной каторге. А два манифеста подряд (рождение наследника и 17 октября 1905 г.) сократили каторжный срок настолько, что он кончился в январе 1911 года, почему Сазонова и поторопились убить до выхода его на поселение.

По переводе из Шлиссельбургской крепости в Акатуй вместе с Гершуни, Карповичем<sup>2</sup> Егор жил в небольшой библиотечной комнате с Гершуни и с Сидорчуком<sup>3</sup>, где Егор и нес обязанности тюремного библиотекаря. Его стараниями было собрано много ценнейших книг по всем отраслям знания. <...> В небольшой библиотечной комнатке около Егора всегда сидело несколько человек, а

<sup>1</sup> Б.О. – Боевая организация Партии социалистов-революционеров.

<sup>2</sup> Гершуни Григорий Андреевич (1870–1908) – один из главных организаторов партии эсеров. Карпович Пётр Владимирович (1874–1917) – эсер, в 1901 г. убивший министра народного просвещения Н.П. Боголепова.

<sup>3</sup> Сидорчук Пётр Корнильевич (1884–1911) – эсер, в ходе еврейского погрома в Житомире (апрель 1905) убивший пристава, одного из организаторов погрома.

он вечно писал – или корреспонденции к книгоиздательствам и на волю к товарищам, или каталоги – своим мелким бисерным почерком редкого изящества и односложно со всеми переговаривался, никогда почти не попадая в тон непрестанно разгоряченному Петро Сидорчуку. Когда Петро влетал в камеру (он не умел входить) с каким-нибудь вопиющим, по его мнению, фактом новой проделки “прошенистов”<sup>4</sup>, Егор, поблескивая тихонечко глазами на Петрика, продолжал обычно вырисовывать свои буквочки. Но если факт действительно вопиал, вставала с места и Егорова высокая худая фигура. Румянец заливал все лицо, и он глухим, неровным по звуку из-за глухоты, голосом с волжским выговором на “о” начинал узнавать подробности от Петра, видимо внутренне волнуясь и часто переспрашивая, так как не всегда все ясно слышал. Егор отличался огромной выдержкой, и интересно было смотреть на них вдвоем, потому что Петрик сыпал “фактами” и руганью, кричал во все горло, бледнел, краснел, чуть не плакал от злости; сжатые кулаки его махали во все стороны, и только Егор мог хотя чуточку вводить его в норму.

В библиотечной же комнатке в уголке, за деловым разговором с Григорием Александровичем, иногда виднелась изящная фигура невесты Егора, пользовавшейся, как и все приехавшие на свидание, правом свободного входа в тюрьму, Марии Алексеевны Прокофьевой. В юности Егора М.А. была большим его другом. Их отношения, как и отношения Егора с матерью, могли бы служить темой красивой поэмы. Девушка с серо-зелеными огромными лучистыми глазами, со строгим взглядом, прозрачным, бледным, тонким лицом и золотыми косами, вся нежная, точно пронизанная светом души своей и в то же время строго-серьезная, – она производила на нас в свой приезд в Акатуй большое впечатление. Она гармонировала с Егором без единого диссонанса. Егор смотрел на нее из своего угла удивленно любящими глазами и редко решался бывать с ней вместе.

“Я почтительно посторонился”, – говорил он мне, – имея в виду, что “Ма”, как звали ее библиотечные обитатели, приехала в Акатуй для устройства побега Гершуни.

М.А. в 1908 году была арестована и осуждена в ссылку по обвинению в косвенном участии в деле о заговоре на жизнь Николая Романова. Из ссылки она бежала за границу, откуда вела особенно оживленную и регулярную переписку с Егором. Письма ее, крупного, умного и интересного человека, много вносили в жизнь Егора. Сильная и твердая в своей вере и любви, она жила надеждой на его близкое освобождение и на встречу с ним. Год его боевой, изолированной от всех работы, 7 лет каторги – 7 долгих лет она ждала его, горела светлой, чистой любовью, как свеча перед богом. Последние ее письма к Егору были сплошным ликующим гимном их встрече в свободе, любви и совместной работе. Она считала дни. До выхода Егора на поселение оставалось всего 6 недель, когда последовала его смерть. Узнав о трагическом конце, М.А. слегла и, тихо угасая, умерла.

<...> У Егора было ценнейшее качество, крайне редкое среди русских людей: он умел становиться на чужую точку зрения, понимать ее всецело и болеть мукой чужой мысли, как своей собственной. От этого обмен мыслей с ним, иногда страстный спор никогда не переходил в ссору, полемику и фракционность, как почти всегда в России в частной и общественной политической жизни. С ним всякий спор был захватывающе интересным и дружным исканием сообщения наилучшего решения вопроса. <...> Чтобы помочь другому, он брался за книги, не предложенные им для чтения в данное время и увлекался ими, конечно, всерьез. При попытках найти ответ на философские вопросы в нем проявлялась глубокая проницательность и самостоятельность ума.

<...> Он всегда искал постулатов правды не только в общественных, но и в личных отношениях, и не раз говорил о необходимости реформы в самой первичной ячейке общественности – семье:

“Мне кажется, без реформы в самых интимных человеческих отношениях с людьми все-таки ничего не поделаешь”.

Это напряженное всестороннее искание благообразия жизни извне и внутри, “блаженство” общения с богом – его характернейшая черта:

“Ничего страшного, ничего невероятного нет, мама, для того человека, который захотел жить богом, отдавая ему каждое дыхание, и если ты встретишь такого человека хоть раз в жизни, то знай, что ты видела самого блаженного человека на свете. Мы очень далеки от этого совершенства, но мы должны стремиться к нему, не правда ли?” И еще:

---

<sup>4</sup> Так называли революционеры заключённых, подававших властям прошения о помиловании. Здесь используется в более широком смысле: заключённые, не являющиеся сознательными революционерами.

“Я умру, но моя правда, то, что для меня дороже жизни, останется жить. Я испытываю величайшее в мире счастье жить так, как велит моя совесть, жить для своей правды. Эту правду у меня никто не властен отнять”... <...>

“Мама, молись за тех, кто борется, молись, чтобы – сильна и метка – была рука их”.

...“Не плачь о них, они сами идут на смерть, чтоб другим дать свободу жить. Плачь по народу, по его великим безмерным страданиям, по его беспомощности, бессилии восстать и стряхнуть с себя палачей. Нет у народа сил постоять за себя... Еще требуются иные, кто б защитил его!...” <...>

Царское правительство в России с 1907 по 1917 г., целых 10 лет занималось физическим истреблением пленных революционеров. Система полного удушения в централах и арестантских ротах была доведена до совершенства. Все было задержано и изнасиловано. Велико было надругательство царизма над побежденной страной, и особенно над ее сынами, взятыми в плен; протесты не помогали, вызывая только жестокие усмирения. Самоубийства во многих местах приветствовались, в других вызывали при неудаче телесное наказание. Голодовки принимали характер игры кошки с мышью, когда заключенные (как было в Вятке), голодая по 21 дню, умирали, так и не получив уступок от администрации.

<...> Все очевиднее обнаруживалось намерение правительства сломать единственную в стране негнушающую волю, сравнить с землей единственное место, где еще дышала революция, звенел протест и был жив подвиг борьбы и бунта, – намерение усмирить тюрьмы и каторги политических заключенных.

Все на нашей каторге чувствовали неотложность точного решения и сговора перед той грозной неизбежностью, что надвигалась на тюрьмы Нерчинской каторги. Поэтому в нашем сначала личном обмене мнений с Егором по вопросу о тюремной тактике скоро приняло участие порядочное число товарищей Мальцевской женской и Горно-Зерентуйской мужской тюрем. <...>

В результате 2-годовой переписки Егор написал мне свое решающее письмо. <...>

– Я принимаю все. Я, лично обещаю снести всякое оскорбление моего достоинства во имя моей идеи, “они” не смогут теперь меня оскорбить (как не оскорбили бы дикари своим голым насилием или сумасшедшие), но если оскорбят *малых* сил, если тронут меньших братьев моих, которые не работали над своим революционным сознанием столько, сколько пришлось работать некоторым из нас (профессионалам революции), их грозящее нам оскорбление может принизить, искалечить, вызвать из подсознания веками воспитанные рабские привычки и убить в них революционера (чему мы знаем уже примеры). И вот *их-то* надо не давать в обиду и защищать своей грудью.

Это решение и определило дальнейшую судьбу Егора. <...> Он был прикован к жизни тысячью видимых и невидимых нитей. Но когда пробил час, когда братьям его стало грозить смертное оскорбление, Егор порвал эти нити бестрепетной рукой.

<...> Многими из нас с уверенностью предполагается, что в агрессивности нападения на Горный Зерентуй играло желание правительства свести счеты с Сазоновым, не дать ему выйти на волю. Незадолго до его выхода на поселение началась травля в газетах Союза русского народа – “Земщине”, “Колоколе” и др.

В унисон с печатной кампанией в России, в Сибири в окна Горно-Зерентуйской тюрьмы вдруг началась пальба день и ночь особенно направляемая в одиночку Егора.

– Я вижу в этом прямое намерение убить меня, – заявил он администрации.

Потом приехал Высоцкий... События пошли быстрым течением. Высоцкий сразу показал себя. Он торопился нападать, отвергая все промежуточные стадии борьбы с заключенными в виде переговоров, увещаний и каких-либо подготовок.

Егор после первого же объяснения с ним понял, *чем* очень скоро должно все кончиться, и уже 27 ноября (1910 г.) мы получили от него прощальную записку и памятку мне, сделанную его руками. 28 ноября, придравшись по пустому поводу к двоим товарищам, Петрову и Сломянскому, Высоцкий приказал применить к ним телесное наказание. Петров облил себя керосином и пытался сжечь себя; его спасли. Тогда начались массовые покушения на самоубийство.

Егор был в горе, что он “опоздал”, не предупредил. Он категорически запретил своим друзьям и товарищам прибегать к самоубийству раньше его. Доказывал, что гораздо “экономнее”, в смысле потери лишней жизни и сил, начать с него. Но время приема яда он постарался не выявлять слишком ясно для всех и поэтому, когда он в короткую минутку открытия своей двери на уборку подбегал к форткам товарищей и говорил им со своей тихой улыбкой “прощайте!”, – не все и не сразу сообразили, что это значит. <...>

Высоцкий, узнав, что произошло то, что было ему особенно надо, отдал строгое приказание не подпускать к хрипящему и бьющемуся в судорогах Егору никого из медицинского персонала, и

только утром в 8 часов таковой был впущен в лазаретную камеру Сазонова, чтобы констатировать его смерть.

<...> – Товарищи, – говорил он в своей последней записке, – сегодня ночью я попробую покончить с собой. Если чья смерть и может приостановить дальнейшие жертвы, то, прежде всего, моя. А потому я *должен* умереть. Чувствую это всем сердцем. Так больно, что я не успел предупредить двух умерших сегодня. Прошу и умоляю товарищей не подражать мне, не искать слишком быстрой смерти! Если бы не маленькая надежда, что *моя* смерть может уменьшить цену, требуемую Молохом, то я непременно остался бы ждать и бороться с вами, товарищи! Но ожидать лишний день – это значит, может быть, увидеть новые жертвы.

Сердечный привет, друзья, и спокойной ночи!..

Так умер Егор.

<http://www.memo.ru/Nerczinsk/spirid8.htm>

Проект: Мемориал (<http://www.memo.ru>)